

ДМИТРИЙ ФУРМАН

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ЦИКЛЫ
РОССИИ

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Серия событий последних лет — горбачевские реформы, всеобщее ликование, сменившееся всеобщим разочарованием, августовский «путч» 1991 года, государственный переворот и расстрел из танков «Белого дома» 4 октября 1993 года — не может не породить ощущения, что «все это мы уже где-то видели» (*déjà vue*) — и в других странах, и в нашей собственной. Какие-то вожди уже вскакивали, если не на танки, то на броневики, какие-то парламенты — сначала созывались и считались очень революционными, а потом разгонялись и объявлялись очень реакционными.

Революция имеет свои законы, в конечном счете, очевидно, «редуцируемые» к психологическим законам, и, раз начавшись, она должна пройти определенный цикл, который можно было бы уподобить циклу маниакально-депрессивного психоза. И, подобно тому, как у разных людей и в разное время такие циклы могут принимать очень не схожие между собой формы, но за маниакальной стадией (в чем бы она ни проявлялась и какой бы степени интенсивности ни достигала) с неизбежностью следует депрессивная, и революция, под какими бы знаменами она ни шла и, опять-таки, какой бы интенсивности ни достигала, должна пройти «положенные» ей стадии. Мы проходили подобный цикл дважды. Первый — это антисамодержавная, антимоноархическая революция. Второй — революция антикоммунистическая, которую мы переживаем сейчас. Как по отношению к первому, так и по отношению ко второму циклу определить точные даты их начала и конца невозможно — они начинаются постепенно, с почти не видимых глазу «микроскопических» процессов, неизбежно принимая затем бурную, обвальную форму и незаметно для большинства переходя в следующий цикл.

Цель данной статьи — сопоставление этих двух циклов (разумеется, в очень эскизной форме, поскольку настоящее, всестороннее сопоставление, очевидно, станет предметом исследовательских усилий лишь в XXI веке). Общее в них — сами законы цикла, особенное — идеологическая форма и разная степень интенсивности процесса. Связаны они с тем, что второй цикл совершается в ином, значительно более развитом обществе и в иную историческую эпоху (для мира в целом и особенно для Европы — уже не революционную). Кроме того, связаны они еще и с тем, что речь идет именно о *втором* цикле, и, хотя память о первом не может предотвратить повторения всех закономерных стадий, она все же оказывает влияние на характер их прохождения. Далее мы будем сопоставлять два наших революционных цикла по их отдельным стадиям, попытаюсь раскрыть сходные по сути своей черты в, казалось бы, весьма разнородных явлениях.

Накопление революционного потенциала

Период революций начинается с выхода из средневековья, с разрушения систем феодального абсолютизма и господства догматической религиозной идеологии. При этом в странах, переживших Реформацию, которая создала относительно «открытые», не догматические религиозные системы, способствовавшие становлению тоже «открытых», способных к эволюции социально-политических систем, революции или совпадают с Реформацией, или оказываются относительно «умеренными», не разрушающими старый порядок: «до основания, а затем», или же такие страны (например, скандинавские) вообще обходятся без революций. Циклы либеральных и консервативных периодов в истории этих стран быстро приобретают относительно «мягкий», не разрушающий общественных институтов характер, общество выходит на эволюционный путь и развивается быстро, прорываясь вперед и становясь источником отчасти — вдохновения, отчасти — зависти для других стран.

В католических странах, где социально-политические идеологические системы были неизмеримо более ригидны (жестки, негибки), революции наступают позже, в определенной мере под влиянием развития более передовых государств и принимают значительно более радикальный характер. Им присущи тотальное отрицание религии и сильные квазирелигиозные черты в революционной идеологии, направленной не столько на устранение тирании и беззакония (а именно так идеологически оформлялись революции в протестантских странах), сколько на построение нового мира всеобщего счастья и абсолютной справедливости. Первая и классическая революция такого типа — французская, прошедшая через стадию демократии и приведшая к революционной диктатуре и террору, явилась началом целой серии революционно-контрреволюционных циклов, сопровождавшихся пролитием рек крови и громадной растратой человеческой энергии. Лишь через очень длительный период столь бурного развития, когда силы обоих непримиримых лагерей (революционного и контрреволюционного), на которые неизбежно оказывается расколото общество, ослабевают, революционные и контрреволюционные «пики» понижаются, демократия перестает быть переходной стадией между двумя авторитаризмами, и цикл приобретает спокойный, не разрушающий демократических институтов характер (во Франции это заняло более 80 лет).

Дореволюционная социально-политическая и идеологическая структура русского самодержавного и православного общества, являющаяся исходной точкой нашего современного развития, была еще более ригидной, чем социальные и идеологические системы в католических странах. В XIX веке, когда США, Англия и ее доминионы, скандинавские страны уже прочно вышли на путь эволюционного демократического развития, а такие страны, как Франция, проходили через кровавые революционно-контрреволюционные циклы, Россия казалась несокрушимым монолитом, островом спокойствия в бурном европейском море. Только в 1861 году в ней было отменено крепостное право, лишь в 1905 году введена «куцая» конституция, до конца, что называется, «до упора» сохранялась монополия «неподвижной», полностью подчиненной самодержавию церкви, переход из которой в другие вероисповедания считался уголовным преступлением.

Увы, за все в этом мире со временем приходится расплачиваться. Законы, управляющие революционными циклами, с одной стороны,

очевидно, «редуцируются» к законам психологическим и чуть ли не физическим (сила действия равна силе противодействия), с другой — имеют моральный аспект, представляют собой как бы встроенный в историю механизм «воздаяния за грехи». За самую жесткую систему в Европе, за сохранение крепостного права и преследования «еретиков» в то время, когда сама возможность этого в других странах стерлась из памяти, России пришлось расплатиться самым страшным из всех европейских «взрывов» — идеологическим и социальным взрывом нашей революции, а затем — возникновением опять-таки самой ригидной революционно-тоталитарной системы (и в конечном счете — новой революцией).

Весь относительно спокойный (по сравнению с тем же периодом в других странах) XIX век российское общество накапливало негативный, революционный потенциал. К обычному подавленному недовольству народных масс постепенно добавлялось все растущее неприятие (особенно, естественно, более образованными слоями) существующей власти, не способной дать адекватные ответы на вызовы со стороны новых научных знаний и новых общественных потребностей религии. Не могло не сказываться и воздействие примера и идейных течений более передовых и развитых стран. При этом природа общественного строя была такова, что недовольство не было в состоянии найти для себя адекватных легальных выходов. Оно систематически загонялось в подполье — мы употребляем здесь это слово в широком смысле, понимая под ним не только революционное политическое подполье, но и «подполье» невысказанных мыслей или даже ощущений и чувств, не достигших стадии оформления четких мыслей. Более того, можно сказать, что господствующий строй своими руками систематически обращал любое частичное и не затрагивавшее сакральных основ идеологии и строя недовольство в недовольство подпольное и тотальное, тем самым готовя грядущий взрыв и собственную гибель.

Иной раз, когда мы с позиций современности оглядываемся на самодержавную Россию, она представляется нам относительно свободной страной. Ведь в ней легально печатались работы атеистов и революционеров, таких, как Н. Чернышевский или Д. Писарев. В ней был, опять-таки вполне легально, издан «Капитал» К. Маркса и даже существовало такое понятие, как «легальный марксист», в ней официальным художником считался И. Репин, автор «Отказа от исповеди» и «Ареста пропагандиста», и т. д. и т. п. Но это представление о свободе в царской России — не более чем абберрация, зрительный обман, возникающий в результате взгляда на нее с позиций современности. Царская Россия не была свободной — она была «слепой».

Такая «слепота» имманентна ригидным догматическим системам, живущим в иллюзорном мире и тщательно оберегающим этот мир от вторжений реальности. Глядя на реальность сквозь свои идеологические догматические «очки», такие системы не могут увидеть реальные опасности и реальных врагов, направляя всю свою репрессивную мощь против того, что вообще не является опасностью, более того, даже может быть средством спасения. В той же стране, где легально издавали «Капитал», первый русский перевод Библии был попросту уничтожен из страха перед ересью; православные (но не ортодоксально окостеневшие) философы и богословы А. Хомяков и Вл. Соловьев основные свои труды имели возможность напечатать лишь за границей. И когда на страницах печати уже бушевали споры марксистов и народников, выход из православия все еще оставался уголовным преступлением, а сектантов бросали в тюрьмы и изгоняли на окраины.

Даже перед самой революцией, которая смела монархию в России и практически уничтожила в ней христианство, царь и его окружение были, как выясняется, крайне обеспокоены прежде всего распространением среди афонских монахов ереси «имяславцев» и главных своих политических врагов усматривали не в социалистах (которые в некотором роде находились вообще вне пределов их духовного зрения) и даже не в кадетях, а в искренне старавшихся спасти монархию октябристах.

Так уж устроен «мозг» подобных систем. Раскольник крестится двумя перстами, а положено — тремя. Поэтому раскольник, искренний христианин, отправляется в ссылку, а человек, которому все христианство настолько безразлично, что выполнение каких-то положенных обрядов даже не воспринимается им как лицемерие, — живет вполне спокойно. Заинтересованные попытки богословов внести что-то новое в церковное учение, — ставшее для подавляющего большинства людей набором бессмысленных формул, — безжалостно пресекаются, а какой-то немецкий экономист Маркс, не значащийся ни в каких списках ересей, — пропускается в печать. Догматическая власть сама направляет общественный протест в самое радикальное русло, которое, как это ни парадоксально, оказывается более легким и даже более безопасным, чем заинтересованные попытки преобразовать эту власть и ее идеологию, сделать их более открытыми, способными к эволюции и, следовательно, — более устойчивыми. Реальной опасности эта власть увидеть не способна, ибо увидеть ее, убедиться, что страна находится накануне гибели, что русский народ совсем не предан батюшке царю и православной церкви, для такой власти страшнее, чем с закрытыми глазами идти к пропасти. И каждый раз, когда реальность какими-то событиями, которые уж никак нельзя не заметить, все же проникает в сознание, догматическая власть отвечает на это усиленным закрыванием глаз.

Так накапливается революционный потенциал, рвущийся наружу и в конце концов приводящий к революции, которая «на новом витке спирали» воссоздает, хотя и с обратными идеологическими знаками, точно такую же догматическую и авторитарную (или даже «тоталитарную») систему. (К механизмам этого воссоздания мы еще вернемся, рассматривая стадии наших революционно-контрреволюционных циклов.) И вновь происходит процесс накопления революционного потенциала, ведущий к новому взрыву.

Опять и значительно быстрее, чем раньше (в силу специфически «научного» характера новой официальной идеологии, делающей эмпирически верифицируемые предсказания, которые, естественно, не сбываются) возникает расхождение между ее догмами и реальностью, становящееся все более и более очевидным. Вновь на наше общество оказывает все большее воздействие пример других, далеко ушедших вперед, более богатых и более свободных стран. И снова идеологически-политическая система регулярно и планомерно уничтожает все то, что могло бы сохранить ее основы, одновременно поощряя все то, что ведет к ее гибели.

При Сталине, после уничтожения реального контрреволюционного сопротивления, вся мощь террористической машины обращается именно против тех, кто действительно был предан господствующей идеологии и кто способен был вдохнуть в нее «живую душу». Того же очевидного факта, что идеология все более превращается в набор фраз, повторяемых бездумно людьми, чей духовный мир все менее с ней связан, чьи реальные мысли все менее от нее зависимы, догматический режим упорно не замечает. Более того, нередко даже люди, открыто исповедующие идеи, прямо противоположные господствующей

щей идеологии, оказываются в значительно более безопасном положении, чем те, кто, разделяя ее основные принципы, несколько отклоняется от официальной версии. При Сталине человек, объявивший себя меньшевиком или троцкистом, был бы убит после страшных мучений, а, например, высшие чины православной церкви со временем стали обязательными гостями всех кремлевских приемов.

Такая система сохранялась вплоть до горбачевской эпохи. Какая бы то ни было открытая критика официального марксизма и «политики КПСС» была абсолютно невозможна, хотя вполне можно было смеяться над ними при закрытых дверях, открыто восхвалять мыслителей, стоящих на диаметрально противоположных позициях и даже высказывать эти позиции от себя, если только ты при этом не полемизировал с официальной идеологией, а просто как бы ее не замечал. В печати уже бушевали споры неопочвенников с западниками, издавались русские идеалистические мыслители, громадную популярность приобретали разные мистические учения и т. д., а издать Л. Троцкого или Н. Бухарина оставалось все еще невозможным, и первый положительный отзыв о Бухарине появился за несколько лет до развала СССР и КПСС. Систематически, можно даже сказать, планомерно и целенаправленно, режим уничтожал жизнеспособность своей идеологии, то есть собственную жизнеспособность, переводя все возникающие в обществе реальные интеллектуальные движения в русло своего тотального отрицания.

Гибель СССР и КПСС с еще большей яркостью, чем гибель царской России, продемонстрировала абсолютную бессмысленность любых формальных механизмов контроля, бессилие всех средств спасти систему, в которой не осталось «живой души», «витальной силы», веры. Извне СССР, в отличие от царской России, был защищен абсолютно — атомными бомбами и баллистическими ракетами. Изнутри его охраняла громадная разветвленная, технически прекрасно вооруженная система КГБ, способная против каждого диссидента выставить по нескольку своих сотрудников. Но весь этот репрессивный аппарат оказался совершенно бессильным против распространения полного неведения в господствующую идеологию — и не только среди диссидентствующей интеллигенции, но и в святая святых, в ЦК партии, где частенько работали люди, чья реальная идеология, как выяснилось впоследствии, по сути своей мало чем отличалась от диссидентской. Более того, сами руководители КГБ, вроде Э. Шеварднадзе или Г. Алиева, опять-таки, как выясняется из их дальнейшей деятельности, «верили» в коммунистическую идею не больше отпавших при них в тюрьмы З. Гамсахурдиа и А. Эльчибея. Картина развала СССР и КПСС вызывает образы, подобные образам средневековых мистерий или символистских пьес о всепобеждающей смерти, против которой строятся стены и выставляются часовые, но она проникает через все укрепления, через всех стражей и, как только настанет срок, — встает у изголовья.

Два раза в нашей истории две идеологически противоположные, но одинаково ригидные, жесткие идеологически-социальные системы схожими путями накапливали негативный, революционный потенциал, идя к собственной гибели. Два раза наша страна, наш народ проходили через схожий процесс, который для этих систем был процессом умирания, а для страны и народа — процессом перехода к мучительному кризису, революционной «смене кожи» — к судорожной и в основе своей столь же иррациональной, сколь иррациональным было предшествующее революции поведение общественной системы, активности собственно революционной, «маниакальной» фазы цикла.

Переход к революции

При всех колоссальных различиях гибели Российской империи и гибели СССР в их «агониях», на наш взгляд, можно усмотреть некоторые общие черты, общий ритм «предсмертных движений». Это — сначала некоторое «оцепенение» умирающего режима, затем — попытки осуществить реформы, «открыть клапан» перегревающегося и уже перегревшегося «котла», которые каждый раз оканчиваются неудачей — клапан вырывается из рук и котел взрывается.

Авторитарные режимы, основанные на догматической идеологии, как мы уже говорили, — это режимы «слепые», устроенные так, что они не способны увидеть реальную опасность. И тем не менее реальность, посредством каких-то особенно ярких событий, прорывается в сознание, разумеется, в идеологически искаженном виде, порождая в режиме приступ иррационального страха и боязнь пошевеливаться. Такой была реакция царизма на убийство Александра II: Александр III и его главный советник К. Победоносцев «подмораживают Россию», создавая иллюзорный покой и загоняя болезнь вглубь. Покой этот прерывается революцией 1905 года, вынудившей Николая II пойти на принятие квазиконституции, которая к этому времени никоим образом уже удовлетворить не в состоянии — она приходит слишком поздно, дана явно нехотя и тут же — урезана. Поэтому революция 1905 года неминуемо ведет к революции 1917 года, являющейся ее продолжением, развитием единого, но прерванного процесса.

На мой взгляд, эпоха Л. Брежнева во многом типологически схожа с эпохой Александра III и начала царствования Николая II. В правящей верхушке, особенно вслед за «пражской весной» 1968 года, нарастал страх — имевший реальные основания, но принимавший иррациональные, болезненные формы. Порождение этого страха — безумная гонка вооружений — служила как бы подменой реальной и непонятной опасности, которой нечего было противопоставить, и одновременно нагромождением средств против опасности видимой, ясной, с которой понятно как бороться, но которой на деле и не существовало. А в усиленной ритуализации — во всех бесконечных торжественных собраниях той поры и церемониях вручения орденов — было нечто от магических обрядов заклинания времени и смерти, вызывания прошлого. Атмосфера брежневской эпохи, как и эпохи Александра III, — это атмосфера «духоты». И хотя во втором цикле, в отличие от первого, режиму непосредственно не грозили революционеры, и общество вроде бы еще долго могло жить в этой душной атмосфере, сама правящая олигархия больше не выдерживала — возникало ощущение, что «так дальше нельзя» и «надо что-то делать».

Как мне думается, чисто рационально объяснить это ощущение невозможно. Никакой реальной «физической» угрозы режиму не было, и М. Горбачев со своими соратниками вполне мог ни на какие реформы и не идти. Но, очевидно, само по себе ощущение, что так «дальше нельзя», что нервы больше не выдерживают, входит необходимой составляющей в процесс назревания революции. И очень характерно и, видимо, не случайно, что ощущение это впервые проявилось и начальные реформаторские поползновения возникли даже не у М. Горбачева, а у человека, руководившего жизненным центром и выполнявшего охранные функции режима, — у Ю. Андропова.

Реформы, предшествующие революции и естественным образом переходящие в нее, порождают проблему, крайняя трудность и даже невозможность решения которой обнажает всю глубину нашего непо-

нимания реального хода исторических процессов. Оба раза — и в начале века, и в наши дни — реформы срываются, приводя к чисто стихийному и кровавому процессу, и оба раза эти реформы начинаются относительно случайно: они могли бы быть предприняты и раньше, и позже. Вполне можно представить себе, что вместо Александра II и Николая II на троне оказались какие-то другие люди, с иной психикой, иными взглядами. Вполне могло случиться, что первая мировая война началась бы раньше или позже и т. д. И уж совсем легко представить себе, что на «судьбоносном», как любил выражаться М. Горбачев апрельском пленуме, Генеральным секретарем ЦК мог быть избран не он, а кто-то иной. Реформы, открывающие путь революции, могли бы поэтому произойти либо раньше, либо позже.

Закономерен вопрос: что же лучше, что открывало перспективы менее кровавым и более успешным результатам? Была ли предпосылка для этого при Александре II или Александре III, когда еще не сформировался русский революционный марксизм с его тоталитарными потенциями, или такие предпосылки могли возникнуть позже, когда возрос бы уровень образованности народа, сложилась более мощная и многочисленная буржуазия? Точно такой же вопрос может быть поставлен по отношению ко второму циклу. Были бы достигнуты лучшие результаты, если бы реформы оказались начаты где-то около 1968 года, то есть в условиях общества, в котором марксизм сохранял еще какую-то жизненность, что сделало бы переход к демократии и рынку более плавным, через социал-демократические формы, а не с помощью прыжка в «идеологический капитализм», приведшего в конечном счете к срыву демократического процесса? Или, наоборот, положительных результатов можно было бы добиться лишь к 2000 году, когда общество стало бы более культурным, менее склонным к иллюзии, не столь скованным и озлобленным, когда новое поколение, забыв о сталинском терроре, проще восприняло бы крах ставшей уже чисто формальной идеологии и связанных с нею ценностей?

Ответить на эти вопросы, конечно, никто не в состоянии. В обществе идут два разных процесса. С одной стороны, в нем накапливается негативный потенциал, скрытое, стремящееся на поверхность отторжение господствующей идеологии и общественной системы. С другой стороны, оно развивается, становится культурнее и изживает постепенно ту «дикость», которая порождает кровавые и несущие в себе тоталитарный потенциал революции (это очевидно хотя бы из сравнения между нашими первым и вторым революционными циклами). И все же думается, что реформы, ведущие к революции, наступают приблизительно тогда, когда им «положено», когда этого требует встроенный в общество механизм, управляющий революционными циклами. Временные отрезки допустимых колебаний здесь не так велики, соответственно, не так велики различия в их последствиях. Представить себе, например, принятие конституции при Николае I очень трудно, и не столько из-за личности Николая, сколько из-за состояния самого общества — все-таки сперва надо было отменить крепостное право. При Александре II, после 1861 года, это, очевидно, стало возможным и даже едва не произошло. Народновольтерский террор, однако, показывает, что к тому времени негативный потенциал уже был очень велик, и конституция скорее всего явилась бы первым шагом к кровавой революции, а затем — к какой-нибудь диктатуре. Равным образом, горбачевские реформы непредставимы при Н. Хрущеве и раннем Л. Брежнев — общество до них явно еще не созрело. А произошли они в 1980-м или в 1995 году — разница последствий была бы, видимо, не так уж велика...

Революция — контрреволюция

Начало собственно революционного процесса — всеобщее ликование от неожиданного освобождения, праздник. Именно как праздник воспринималось время, последовавшее за октябрьским манифестом 1905 года, последние дни февраля — март 1917 года. Таким же праздником была и раннегорбачевская пора. Но периоды подобной эйфории, как правило, длятся недолго. Как только у общества исчезает страх перед старой властью, оно со всей силой обрушивается на саму эту власть и всех тех, кто с ней связан, кто ее защищает или хотя бы проявляет не слишком сильную ненависть к ней. То, что еще вчера представлялось неожиданным даром судьбы, сегодня кажется вынужденной и недостаточной уступкой властей придерживающих, то, что казалось нормой, — немислимым преступлением. Вчерашних лидеров в борьбе за освобождение — А. Керенского и П. Милюкова, М. Горбачева и Р. Хасбулатова — в глазах народа пытаются представить чуть ли не главными преградами на пути к свободе и счастью.

Причина всего этого проста: в обществе накапливается слишком много горечи, обид, унижения и в то же время с освобождением связываются слишком большие ожидания. В самом деле, что такое «куцая» конституция по сравнению с Учредительным собранием? И что такое Учредительное собрание в сопоставлении с передачей фабрик рабочим, а земли крестьянам? Что такое Съезд народных депутатов СССР, выбранный по не слишком демократической процедуре, в сравнении с демократическими и революционными властями России, провозглашающими ликвидацию СССР и КПСС? И что такое российский парламент и Конституционный суд рядом с великой задачей скорейшего построения капиталистического общества, при котором все (во всяком случае, те, кто заслуживает, а это, конечно, и есть мы) завтра-послезавтра станут жить не хуже, чем американцы или, по крайней мере, скандинавы? Революция идет вперед, последовательно уничтожая своих прежних лидеров и старые институты, но куда она идет?

Как во внешней неподвижности системы, идущей к революции, нарастает негативный потенциал, который при первом удобном случае с невероятной силой вырывается наружу, сокрушая все на своем пути, так и наоборот, в буйстве революции таятся зародыши последующего «окостенения», в судорожной активности «маниакальной» стадии — зачаток последующей «депрессии».

Революция осознается восставшими как стремление к освобождению, к свободе. Но в громадной степени это стремление к свободе — идеологическая иллюзия, самообман. Русское общество, которое только в 1861 году избавилось от крепостного права и лишь в 1905 году получило нечто вроде конституции, могло накопить страшную ненависть к угнетателям, к власти, но ему абсолютно неоткуда и некогда было выработать те необходимые психологические основания, без которых немислимо правовое демократическое общество. Оно не успело выработать той «привычки к свободе», потребности в ней, которая в Западной Европе вырабатывалась столетиями — или постепенным воспитанием чувства свободной ответственности протестантизмом, или чередой революций и контрреволюций, как это происходило во Франции или Испании.

Революция всегда в какой-то мере — «восстание рабов», и в ней проявляется психология «рабов», долгие годы копивших ненависть к хозяевам и потребность отомстить им, но при всем том не привыкших быть свободными; не умеющих жить в свободе и втайне — боящихся свободы. Вот почему в глубине стремления вроде бы ко все большей

свободе — не только от царизма, но и от «эксплуатации человека человеком», — крылось тайное, тщательно сокрытое стремление к противоположному — к «бегству от свободы».

Революция всегда хочет решительности, определенности, ясного и четкого плана, ведущего к народному счастью. Ее «ругательства» — «мягкотелость», «либерализм», «главноуговаривающий» (так обзывали Керенского). Но стремление к определенности, к решительным вождям, к чрезвычайным мерам и т. д. — это и есть неосознанное стремление вернуться к втайне желаемой несвободе, радикально переменяя идеологические знаки и тем самым скрыв от самого себя это возвращение к исходному состоянию. Поэтому чем решительнее и смелее наша революция шла вперед, тем больше она возвращалась назад. Если так можно выразиться, в чреве революции крылась контрреволюция, все более овладевавшая революцией и подчинявшая ее себе. Если исходить из большевистской мифологии, то движение от Февраля к Октябрю и далее к Сталину — это развитие и углубление революции. Но если видеть в качестве цели революции освобождение человека, достижение демократии, то это, конечно, — контрреволюция.

В иной форме, с иными идеологическими знаками и символами, с модификациями, порожденными временем, но в основе своей — ту же динамику можно увидеть и в 1985—1993 годах. На сей раз психологически мы были намного ближе к демократии, чем в 1917 году. Советский период нашей истории явился не только периодом нарастающей «неподвижности» нашей идеологии и накопления негативного, революционного потенциала. Он стал и периодом накопления определенного «демократического потенциала». И тем не менее поколения людей, помнящих Сталина или даже не живших при нем, но воспитанных при Брежневле, к полноценной демократии оказались все же не готовы. В «бунте» против Горбачева, СССР, КПСС, в страстном желании «потоптать ногами» поверженного противника с самого начала можно было заметить то же самое затаенное, глубокое, скрытое от сознания стремление поскорее избавиться от открывшейся нам свободы, которое в полной мере проявилось и в первом нашем революционном цикле. Более того, хотя на сей раз процесс протекал «мягче», его иррациональность (как на всех стадиях второго цикла) приобрела еще более очевидный и в то же время несколько «пародийный», «фарсовый» характер.

В ходе первого революционного цикла революционеры и восставший народ действительно сначала силой вырвали у царизма некое подобие конституции, а затем уничтожили сам царизм. Во второй революции ничего похожего не произошло, свобода на этот раз была «дарована свыше». Реальной борьбы за нее практически не было. Более того, Горбачеву понадобилось несколько лет, чтобы «раскачать народ», убедить его, что бояться больше нечего. Но как только народ и в самом деле убедился, что ничего страшного от Горбачева ожидать не приходится, он обратился против него, требуя большей решительности. Людей, которые спокойно могли бы терпеть еще десятилетия несвободы, вдруг охватила горячка нетерпения. Во всем этом было что-то от «имитации» — люди как бы ощутили унижение за то, что реально они борьбы со старым режимом не вели и что свобода пришла из ЦК КПСС, а потому усиленно «наверстывали упущенное», имитируя борьбу, делая вид, что они вырывают свободу из рук сопротивляющегося противника. Но в борьбе с Горбачевым проявилась не только эта имитация революционного героизма, стремление сделать вид, что ты силой вырвал то, что на самом деле далось тебе без усилий. Здесь дало о себе знать, как и в первой революции, тайное нежелание свободы, запрятанное в подсознание стремление вернуться к привычному авто-

ритаризму. За обвинениями Горбачева в мягкотелости, нерешительности, отсутствии ясного плана и т. д. (отношение — во многом аналогичное отношению к «главноуправляющему» Керенскому), за всеобщей — и слева и справа — нелюбовью и демонстративным пренебрежением к нему, сменившимися первоначальные восторги, скрывалась и ненависть к человеку, давшему нам то, чего мы в глубине души и не желали.

Стремление вернуться назад, всего лишь переменяя идеологические знаки и обманув, уверив себя, будто на самом деле мы движемся вперед, проявляется во всех радикальных лозунгах нашей второй революции — запретить КПСС (то есть реально — запретить или, во всяком случае, резко ограничить плюрализм, утвердив новую официальную идеологию), дать ясную и четкую программу реформ (совершенно не случайно, видимо, программа была рассчитана не на 600 дней и не на 400, а именно на 500 — в памяти сразу воскрешается пятилетка), покончить с мешающей реформам «парламентской говорильней», распустить Советы, в которых (снова) «засела контрреволюция», прекратить тоже мешающую реформам и уж совсем непонятно для чего нужную деятельность Конституционного суда и т. д. и т. п.

И точно так, как завершением революционной бури 1917 года стал разгон Учредительного собрания (а затем последовало движение, через 12 лет приведшее к коллективизации, а еще через несколько лет — к 1937 году), конец нашей современной революционной бури ознаменован расстрелом парламента 4 октября 1993 года.

Завершение цикла — возвращение к авторитаризму

В феврале 1917-го большевики представляли собой одну из многих и далеко не самую мощную из тогдашних революционных партий. Даже во время выборов в Учредительное собрание они, несомненно, оставались партией меньшинства. И если вначале большевики выступали вместе со всеми революционными силами против контрреволюции, то затем оказались одни против всех — монархистов и эсеров, анархистов и кадетов, украинских националистов и мусульман-басмачей; более того — против всей Антанты и ее союзников (разумеется, Антанта боролась очень вяло, но все же это была Антанта, а большевики — всего лишь голодные русские рабочие). И при этом одерживали победы над всеми. Какая же сила позволила им добиться этого?

Конечно, за большевиками были фанатичная вера и преданность делу профессиональных революционеров, «хилиастические» ожидания, которые им удалось пробудить в народных массах, и т. д. Но причина, очевидно, не только в этом. Дело, как мне кажется, еще и в том, что большевики — в какой-то мере, очевидно, случайно (могли быть и не большевики, а, скажем, левые эсеры), — оказались в ситуации, когда на них начало работать стремление народа поскорее избавиться от свободы. Неодолимая сила революционного взрыва неизбежно переходит в такую жеодолимую силу, влекущую к авторитаризму (подобно тому, как маниакальный припадок приводит к депрессии). Большевики, не побоявшись взять власть, поправ все демократические нормы и показав, что они не шутят и готовы убивать, всего лишь оказались «в нужный момент в нужном месте».

Взяв власть, они вроде бы остались одни против всех. На самом же деле большевики с каждым днем получали новых союзников, друзей, рабов — всех тех, кто не был в силах вынести перешедшей в анархию свободы, кто хотел того, чтобы «все это поскорее как-нибудь кончи-

лось». Таковыми совершенно не обязательно были люди, уверовавшие в большевистскую версию марксистской идеологии. Это могли быть и люди, совершенно не представлявшие себе, в чем она заключается и даже ее принципиально отвергавшие, но при этом видевшие, что объективно большевики «спасают Россию», вновь наводя в ней порядок и создавая сильное государство. Большевики постепенно превращают страну в гигантский концлагерь, более страшный (хотя и несущий в себе потенциал более быстрого разрушения), чем все, что был в состоянии вообразить себе самый фанатичный и кровожадный представитель наиболее «махровой» царистской реакции. И те же люди, которые еще недавно возмущались царскими репрессиями, — одни с глазами, горящими энтузиазмом, другие с чувством безнадежности, — почти покорно идут в этот концлагерь.

Происходит, таким образом, возвращение назад, но на «новом витке спирали», и это возвратное движение в какой-то мере прорывается в сознание, полусоздается. При Сталине, словно из глубин памяти, из бессознательного, на поверхность начинают один за другим всплывать старые имперские образы и символы — Дмитрий Донской и Александр Невский, генеральские звания и золотые погоны с лампасами, псевдоклассицистская архитектура и стремление к Дарданеллам и Порт-Артуру. Постепенно все возвращается на круги своя, и режим вновь начинает накапливать негативный, революционный потенциал.

Во втором нашем цикле роль большевиков (хотя и с противоположными идеологическими знаками, к тому же — более «мягких» и куда менее бескорыстных) сыграли Б. Ельцин и его сторонники. Происходит тот же «диалектический» процесс — чем более они оказываются в изоляции, тем сильнее становятся. В 1990 году Б. Ельцин, А. Руцкой, Р. Хасбулатов, Н. Травкин, В. Аксютин, И. Константинов и др. — это один лагерь, противостоящий «реакции» и «мякотелости» Горбачева. За Ельцина — большинство того самого парламента, по зданию которого три года спустя палили его танки. В 1993 году большинство прежних друзей и союзников отвернулись от своего лидера и объединились с прежними противниками. «Белый дом» обороняла пестрая коалиция, представляющая практически всю неельцинскую Россию — от коммунистов и фашистов до либералов и демократов (не либерал-демократов В. Жириновского, а действительных либералов и действительных демократов). Тем не менее Ельцин одержал верх над всеми.

Он с самого начала афишировал свою «мужественность» и «решительность». И когда продемонстрировал эти черты в полной мере, устроив кровавый спектакль в центре Москвы, столице той самой страны, в которой совсем недавно возникали полумиллионные демонстрации в память нескольких человек, погибших в Вильнюсе, по всей России воцарились молчание и спокойствие. Люди, воспринимавшие Вильнюс как страшный позор и немыслимое злодеяние, спокойно проходят мимо обгоревшего «Белого дома», где погибло все еще не установленное число людей. Это сопоставимо лишь с тем, как за семь с лишним десятилетий до того люди, совершенно искренне считавшие царский режим кровавым и преступным, приняли как должное большевистский террор. Пришел «хозяин», о котором втайне мечтали те самые люди, что совсем недавно требовали все большей свободы и демократии, и которому — только за то, что он — «хозяин», масса простого народа точно так же готова простить надругательство над коммунистическими символами (не в символах дело), как она охотно простила большевикам надругательство над церквями.

Новой решительной власти вообще прощается все то, что не прощалось прежней — либеральной и слабой. Сейчас, на рубеже 1993—1994 годов, когда мы воюем в Таджикистане, обороняя там «границу

России», когда ингуши выселены из Северной Осетии, а Закавказье залито кровью (конечно, не самой Россией, но, судя по всему, и не без российской помощи), поистине смешно вспоминать, какие бури негодования вызывали афганская война, Сумгаит, разгон демонстрации гамсахурдистов в Тбилиси, какое сочувствие вызывали требования крымских татар. Не менее смешно сейчас вспоминать наши волнения из-за привилегий правившей прежде верхушки и признаков коррупции в рядах (коррупция ныне считается чуть ли не явлением положительным, ибо она способствует накоплению капитала и развитию рыночной экономики), нашу озабоченность состоянием здоровья населения и экологией, наши возмущение и протесты по поводу робких попыток правительства Н. Рыжкова на 2—3 процента повысить цены на продукты питания. В Москве стоит обгоревший «Белый дом», на просторах СНГ льются реки крови, цены на все и вся выросли во многие десятки и сотни раз, города полны нищих, грань между чиновником, коммерсантом и мафиози давно стерта. Тем не менее у множества людей в России вырывается вздох облегчения — власть в стране все-таки есть, и она показала себя властью серьезной, которая шутить не любит.

И как в большевистском режиме по мере его эволюции все отчетливее проступали черты преемственности по отношению к царизму, так и в нынешнем, ельцинском все явственнее проступают черты преемственности относительно и царского, и советского режимов. При этом, поскольку в идеологии нашей революции наряду с западнически-либеральными изначально присутствовал и сильный «реставрационный» компонент (лозунг возвращения к докоммунистическому прошлому, рассмотрение советского периода нашего развития как исторического «провала», который надо преодолеть, напрямую связав современность с дореволюционным прошлым), преемственность по отношению к царскому режиму пробивает себе путь особенно быстро и находит воплощение далеко не в одной символике (православие, Государственная дума, двуглавый орел и т. д.).

В свое время большевики начали с лозунга права наций на самоопределение и разрушения империи, а затем перешли к ее успешному восстановлению (в «прикрытой», видоизмененной форме СССР) и даже — едва ли не ко всем прежним территориальным притязаниям царизма. Нынешние руководители тоже начали с поддержки лозунга суверенитета наций, добились разрушения СССР, а теперь движутся все в том же, очень схожем направлении. Правительство сейчас предпринимает колоссальные усилия, чтобы не допустить выхода из сферы нашего влияния таджиков, грузин, азербайджанцев. Возвращение Грузии и Азербайджана в СНГ (с вывернутыми руками) изображается в качестве триумфа российской политики, а контролируемые властями средствами массовой информации полны рассуждений о вечных интересах России, влекущих ее к разным морям, океанам, горам и равнинам. Бросив в 1990 году автономиям клич «Берите столько суверенитета, сколько можете», уже в 1993-м Ельцин вычеркивает из Конституции применительно к автономиям само слово «суверенитет» и всячески подчеркивает, что Россия — единая и неделимая страна (здесь речь идет не об оценках, о том, хорошо это или плохо, а лишь об очевидной логике ельцинской эволюции).

Как большевистский режим от интернационализма в конце концов дошел до фактически официального антисемитизма, так наш «демократический» режим уже пришел к ксенофобии, правда, пока что направленной в основном против «лиц кавказской национальности».

Можно привести еще массу фактов, свидетельствующих о довольно быстром возвращении прошлого — переходе от свободы вероисповеданий к политике покровительства православной церкви, централизации

и чуть ли не ликвидации местного самоуправления, цензуре средств массовой информации, особенно телевидения, приобретшего совершенно официальный характер, и т. д. Все это общеизвестно и достаточно очевидно. Не видеть и отрицать эти факты может лишь тот, кому уж очень не хочется их видеть.

В революционных циклах есть та же безнадежность, как и в болезненных припадках, и даже ожидание их наступления, тщательное улавливание признаков их приближения, чтобы как-то их предотвратить или хотя бы смягчить, дает не так много — они все равно приходят неожиданно и развиваются стихийно, вне нашей воли. Нельзя сказать, чтобы развитие событий, приведших к 4 октября, было невозможно предугадать — слишком уж много раз события такого рода повторялись (и не только у нас), слишком четко проступала в них знакомая схема.

Автор просит извинения за то, что может кому-то показаться хвастовством. Но сказанное выше — отнюдь не попытка быть умным «задом числом» и заявить: «Этого следовало ожидать» относительно событий, которые на самом деле явились полной неожиданностью. В доказательство я могу процитировать свою статью «На что надеяться демократам», напечатанную в «Независимой газете» 8 октября 1991 года: «Народ... уже «выпустил пар», сбросил памятники и сейчас явно хочет новой «сильной» власти, которая наведет порядок, «положив конец парламентской говорильне». Поэтому... намечающиеся сейчас битвы законодательной власти с исполнительной — битвы арьергардные... Российскому парламенту явно не тягаться с «харизматической» личностью «народного президента». Я мог бы сослаться и на другие публикации того времени. И я вовсе не был один «такой умный» (тем более, что, должен честно признаться, уже после того, как это было написано, мне много раз начинало казаться, что «может быть, все как-нибудь обойдется» — типичные ощущения человека, видящего надвигающуюся болезнь, знающего, что она неотвратима, и в то же время продолжающего надеяться, что ему, быть может, просто померещилось и все пройдет). Образ первого цикла русской революции витал над многими (вспомним хотя бы «Невозвращенца» А. Кабакова). Страх перед повторением прошлого можно даже назвать навязчивым, и люди порой усматривали его признаки там, где их не было и в помине. Не случайно главным полемическим приемом и наших демократов, и их противников (и те, и другие, кстати — сплошь бывшие коммунисты) было взаимное обвинение в «большевизме» или «необольшевизме».

И все же прошлое вернулось к нам, и вернулось, заставив народ кровью заплатить за недолгий праздник освобождения.

Второй раз в нашей истории мы не выдержали «испытания свободой», не сумели стать свободными и вновь возвратились хотя, разумеется, в смягченной форме, к традиционным русским авторитарным порядкам (с полной уверенностью говорить о степени «мягкости» новой авторитарной власти, однако, нельзя, ибо движение к авторитаризму вполне может продолжиться; в конце концов при Ленине, что бы о нем сейчас ни говорили, тоже трудно было представить, что его наследником станет Сталин). Цикл завершился или завершается. Но второй цикл — не просто повторение первого. При тождестве или схожести основных управляющих ими механизмов между ними — большие различия.

1

МЫ ГОВОРИЛИ уже о более «мягком» и одновременно — несколько «пародийном», «фарсовом» характере второго цикла нашей революции. И действительно, хотя расстрел 4 октября окрасил нынешнюю революцию трагическими и зловещими тонами, все в ней «мягче» и одновременно — «мельче», «несерьезнее».

Наши диссиденты, не сумевшие ни создать революционной организации, ни выработать идеологии, стратегии и тактики борьбы, не сопоставимы с революционерами первого цикла. Среди них нет таких фигур, воодушевляющих одних и страшных для других, — героев-убийц, мучеников-палачей, какими были столь богаты народовольцы, эсеры, большевики.

Революция вторично началась сверху, и ей, в том числе борьбе «демократов», с Горбачевым, присущ, как уже говорилось, несколько «имитационный» характер. Типичная фигура первой революции — рабочий, матрос, солдат; второй — младший научный сотрудник или сиделец в лавке, торгующей «сникерсами» и «Амаретто».

Лидеры нашей революции и ее наиболее радикальной фракции, типологические эквиваленты бывших большевистских лидеров — это в подавляющем большинстве «перекрасившиеся» представители партноменклатуры или, во всяком случае, низших слоев партийно-интеллигентской иерархии, никогда ни в каких тюрьмах не сидевшие, ни с каких каторг не бежавшие и никакого бескорыстия не проявляющие. И хотя, как показал октябрь 1993-го, в тех случаях, когда дело доходит до защиты «своей» власти, они вполне способны пустить кровь — и немалую, — той беспощадной готовности убивать, которую обеспечивали большевикам образца 1917 года фанатичная преданность идее и сознание того, что тебе лично никаких материальных выгод не нужно и ты в любой момент готов отдать свою жизнь за торжество «великих принципов», у героев сегодняшней нашей революции нет и в помине.

Идеология, победившая в нашей первой революции, — это мощная псевдонаучная и псевдорелигиозная система, действительно овладевшая умами и сердцами миллионов. Теперешняя идеология — это несколько эклектическая комбинация «западнических», демократических и капиталистических («возвращение в мировую цивилизацию»), и реставрационно-державных («возрождение России») лозунгов и символов. И хотя наша основная историко-философская схема — «затянув пояса», пройти трудный переходный период к приватизации и рынку, которые должны принести богатство и счастье, — и выглядит как перевернутая марксистская схема и даже вызывает нечто напоминающее фанатизм, она, конечно, не в состоянии породить ту фактически религиозную веру, которую воспламенял в сердцах людей марксизм. На основе такой идеологии не создать массового движения, не сформировать ничего, способного заменить компартию.

Поэтому и авторитаризм, складывающийся в конце второго цикла, очевидно, не сможет все же достичь степени большевистского тоталитаризма. Это — своего рода «стыдливый» авторитаризм, прикрывающийся выборами и внешними атрибутами демократии. Не имея четкой идеологии и мощной массовой базы в виде фанатичного народного движения, он не способен создать достаточно жесткой системы управления обществом и контроля над ним. Новый авторитаризм — более циничен, чем большевистский, но и менее страшен, чем он.

Все по второму разу оказывается как бы более «мягким» и несколько «фарсовым». Почему? Прежде всего потому, что второй цикл совершается в иной социальной и общецивилизационной среде. Если в 1905—1917 годах в мире в целом еще далеко не завершилась революционная эпоха, эпоха мощных пострелигиозных (и квазирелигиозных) идеологий, направленных на построение идеального мира на земле, то 1991—1993 годы — это время, когда революция и революционные идеологии стали уже достоянием прошлого. Это — «постмодернистская» эпоха. Мир в целом радикально изменился, другой стала и наша страна — урбанизированной, грамотной, с громадным интеллигент-

ским слоем. Все это — совсем иной человеческий материал, чем тот, что служил основой большевистского режима. Такого может быть объяснение «мягкости» второго цикла. Откуда же берутся специфические для него элементы «фарсовости»?

На наш взгляд, они возникают из «пережитости», запоздалости для мира в целом и для нас самих нашего революционного цикла. Фарсовость возникает в том случае, если общество, вроде бы уже вышедшее из того возраста, когда устраивают революции, и потому способное, обходясь без самообманов революционного цикла, постепенно (и именно поэтому — быстро, ибо задержки возникают как раз из-за спешки и провалов) перейти к демократии, все же выходит в этот цикл. Фигура секретаря обкома, который приходит к выводу о необходимости демократизации общества и последовательно борется за его реформирование, — фигура не фарсовая, как не фарсовыми были и фигуры наших революционеров прошлого. Фарс начинается тогда, когда этот секретарь обкома, продолжая при этом собственную карьеру, принимает позу революционера, провозглашает гибель коммунизма, строительством которого он сам руководил в своем регионе всю сознательную жизнь, и встает в церкви со свечкой в руках. Печальное, но и смешное, фарсовое есть в том, что мы не удержались от революционного цикла, снова не смогли стать нормальной современной демократической страной, оказались не в состоянии «сдать экзамен на аттестат зрелости».

Что же нам делать, чем мы можем утешиться? Только одним — спокойным осознанием правды.

Действительно, у нас снова не получилось. Но, во-первых, на этот раз — почти получилось, мы были очень недалеко от взятия планки и сорвались в последний момент. Во-вторых, преодолеть ее очень долго не удавалось и другим. Те, кто сейчас служит символами стабильности — французы и немцы, — прошли через такие безумства и кровавые оргии, которые вполне сопоставимы с нашими. Но в конце концов они вышли из своих «порочных кругов», переболели болезнями переходного (к «взрослому» миру стабильной демократии) возраста. А есть немало стран, еще только делающих первые шаги к демократии. Разумеется, вполне допустимо сравнивать себя с Европой, но можно (а для более правильного понимания своего действительного места в мире — даже нужно) сравнивать себя и с Гондурасом, Бангладеш и Экваториальной Гвинеей. И наконец, в-третьих, «экзамен на демократию» обладает той способностью, что его можно сдавать по многу раз, а в конечном итоге не сдать — нельзя. К демократии в современном мире приходят постепенно все, и пусть пока мы оказались худшими учениками, чем, скажем, турки или аргентинцы, но коль скоро пришли к ней они — придем и мы.

Да, мы провалились во второй раз. Но это значит только одно — впереди будет третья попытка.

Мы не знаем, достигнут ли уже авторитарный «пик» нашего теперешнего цикла или, что более вероятно, он еще впереди. Но похоже, что сейчас мы выдохлись и сил на новую попытку в данный момент у нас нет. Нынешний авторитарный режим — не на семьдесят лет, однако и не на полгода. Но самое главное — любая авторитарная система неизбежно накапливает негативный материал. Загоняя в подполье (или полуподполье) чувства и мысли людей, создавая новую социальную мифологию и вводя новые запреты на информацию, новый режим совершает то, что и все подобные ему режимы, — готовит тот горючий материал, который раньше или позже устремится наружу. И этот процесс, начинающийся, как всегда, незаметно, уже идет, не может не идти.

Можно даже с большой степенью вероятности сказать, что как в негативном потенциале, который скапливался в советскую эпоху, естественным образом преобладали прокапиталистические настроения, так теперь, по мере разочарования в утверждающемся у нас внешне идеологически ярком и радикальном, а на деле — номенклатурном и монополистическом капитализме, новый негативный потенциал будет окрашиваться в социалистические тона (что, естественно, не означает, что нам грозит возвращение к «реальному социализму»). Несомненно, этот потенциал не достигнет той мощи, которая была присуща нашему второму, а тем более первому циклу, — и время в целом работает на затухание революционных циклов, и авторитаризм нынешнего режима относительно «мягок», да и навряд ли он будет долговечен.

И все же через какое-то время нам предстоит новое трудное испытание, ибо процесс выхода наружу негативного потенциала — всегда стихийный, малоуправляемый и потому неизменно опасный. И хотя полностью контролировать этот процесс невозможно, готовиться к нему нужно. Даже в ходе второго цикла присутствовали память о первом нашем провале и элементы самоконтроля, которые в определенной мере сыграли роль факторов, ослаблявших кризис. Сейчас же нам надо сознательно готовиться к будущему кризису, проясняя для себя причины наших провалов, учась заранее распознавать опасности, в каком бы идеологическом обличье они ни проявлялись. От необходимости добиваться демократии нам все равно никуда не уйти, третья попытка «взять планку» нас не минует, и остается лишь надеяться, что на сей раз она будет успешной и — последней.

...Работа над текстом этой статьи была закончена до выборов 12 декабря. Соответствуют ли ее логике сенсационные результаты этих выборов? На мой взгляд, да.

Успех В. Жириновского — дальнейшее развитие авторитарной тенденции, набравшей силу на протяжении всего послеавгустовского периода. Жириновский — такое же продолжение стрелявшего по Верховному Совету из танков Ельцина, как Сталин был продолжением тех, кто разогнал «Учредилку». Даже империализм и шовинизм Жириновского уже проявлялись в борьбе Лужкова с инородцами и т. п.

Но феномен Жириновского не только продолжение. Он еще и моральная реакция. Этот феномен доводит до логического конца наметившиеся тенденции, придает им более «благородный» вид. Для голосовавших за Жириновского он прежде всего — чист, он не принадлежит к «демократическому» истеблишменту, сделавшему все возможное, чтобы слово «демократия» надолго и прочно связалось в сознании народа со словами «грязь», «коррупция», «спекуляция». Он не был секретарем обкома, не менял (а если и менял, то об этом никто не знает) убеждения, как перчатки, не расстреливал тех, кто проложил ему дорогу к власти. Жириновский — это расплата за грехи «демократии». Проявление того встроенного в историю механизма воздаяния, которое действует всегда и безотказно, но, к сожалению, лишь по отношению к институтам, партиям, социальным системам, воздавая которым за грехи, он губит массу ни в чем не повинных людей.

Жириновского никогда бы не было, если бы не было преступлений теперешнего режима. И предотвратить окончательный приход его или кого-то ему подобного к власти можно лишь одним путем — если сама демократия очистится и покарает своих виновных, не дожидаясь, пока их покарают другие. Но надежды на это почти нет.